

Григорий Палатников

Мимолетен, как блик на воде

История любви для фортепьяно и виолончели в трех частях
фа минор, оп. 1

Галине Безикович

День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Псалом Давида, XVIII

В высоком окне старого дома изредка мелькнет чайка. Сам дом солиден и велик. Он возвышается над перекрестьем улиц, ведущих к морю. К порту. Улицы носили имя самодержицы и ее генерала. В баснословно далекие времена первый этаж занимало кафе Робина, неукротимого конкурента заведения Фанкони, что расположилось наискосок, на противоположном углу. Тогда Одесса крутилась сумасшедшей каруселью, за столиками мелькали таможенные брокеры, офицеры торговых и военных флотов, банкиры, шулера, артисты, налетчики, цвет российской словесности, дамы света и полусвета. Был богатейший город, сейчас затишь, безвременье. Библейская истина – все проходит и возвращается на круги своя – воплотилась наполовину: пройти прошло, но не возвратилось, а то, что возвратилось, – в нелепом виде.

В комнате, как связь времен, кабинетный «бехштейн». Посланец из другого века, века Чайковского и Грига – их давно не производят. У него хорош звук и в порядке механика – кормилец. Хозяйка рояля Таня-маленькая. «Эта пианистка с русской фамилией», – как ее обозвал завхоз в ходе стремительного скандала в темпе Листа: быстро, быстрее и еще как можно быстрее. Последнее слово, как россыпь бенгальского огня, осталось за ней:

– Вас нашли в гнилой капусте, в отличие от моих вундеркиндов. Можно подумать? – У нас школа Столярского, а не гарнизонная гауптвахта! – Маленькая Таня за большим роялем. Таня – маленькая, действительно маленькая, статуэточка, любившая одеваться в черное, что еще больше подчеркивало ее миниатюрность. На рояле на кипе нот шляпа с высокой тульей. Просто иллюстрация строк «Евгения Онегина»: А закулисные свиданья? А prima donna? а балет? – не хватает перчаток, платья с фижмами, второпях брошенного на стул, и туфелек под ним.

– Не волнуйтесь, сейчас... придет Прима.

– Я прима! Я Флория Тоска! – извещала она низким драматическим сопрано... – Женщины твои сестры, а это больше, чем братья. Ты обязан женщинам по гроб, мы ввели тебя в мир музыки...

Время потекло в другую сторону, это ощущалось по аритмии и легкому шуму в голове... да еще по рождественским елкам – их, пышных и нарядных, тащили по домам, мимо сваленных у мусорных баков подобных скелетам остовов в пожелтевшей хвое и блестящих нитях серпантина...

На город пал туман. Если ничего не изменится – туман съест снег и обернется потопом. Так и произошло. Всю неделю с крыш текло, и по ночам сквозь сырую вату сочился тоскливый стон. Ревун маяка. Днем за шумом городской жизни он то слышим, то пропадает во влажном мороке. Но ночью... Настойчивый зов, проплыв над молом, гулко отдается в приморских кварталах, эхом бродит по улицам, прилегающим к порту. И медленно гаснет в колодцах старых дворов.

Силою божьего попечения – в ночь католического рождества пошел снег – вечное кружение с детства живущей в душе сказки, сладко шепчущей о волшебстве этой ночи, когда под властью чар чудо снегопада, человечество предается мечтам и надеждам, умиротворенное звуками хора за свинцовыми переплетами старых церковных окон, мерцающих костром праздничных свечей.

Что может так разбередить душу, как этот жар в толстых литых стеклах?

И только сын либо дочь человеческая решат начать новую жизнь, рука рока ляжет на плечо и раздастся голос – на триста шестьдесят пять дней в тюрьму повседневности, на остров

«предсказуемости», и ничего не произойдет – мечты растают, чудо не состоится. Это было настолько нестерпимо обидно, что, повернувшись, пошел через мрак запутанных коридоров, иногда сталкиваясь во тьме переходов с персонажами счастливых и загадочных снов и с любимыми до боли людьми, преображенными до неузнаваемости масками невиданного карнавала, вспять, к огням, гомону голосов и такому милому мне сообществу людей, сопровождавшему всю мою жизнь.

– Путь вывел меня на площадь, под небо с реденькими звездами, где случайно налетел на парня в высоком опереточном цилиндре. Головной убор из серебряной парчи выглядел крайне легкомысленно. Я долго смотрел ему вслед – тоже мне, граф Люксембург. И лишь разглядев седую прядь на правом виске, понял: это я – я далеких семидесятых, чернявый и худой, сопровождаю маленькую женщину в черной, похожей на аккуратненькую чалму шляпке. Пара пересекла площадь, которая и в райских снах не надеялась снова стать Екатерининской, и, оживленно болтая, направилась вниз по спуску в сторону порта. Беспреданно скользя по аспидно-черным булыжникам, едва припорошенным снегом, смеясь и обмениваясь новогодними пожеланиями с такими же подгулявшими прохожими. Мимо фонарей. Через желтые круги света, иногда оказываясь на Мариацкой площади Кракова под призрачным светом другой страны и в россыпи огней чужого фейерверка. Этот путь сквозь чересполосицу света и тьмы длился до тех пор, пока перед нами, кружась, хохоча до упаду и поминутно хлопаясь в мокрый снег, не предстали очаровательные слегка навеселе Дорота и Ивонна. Туман дыхания окутал их лица, осел каплями росы на кончиках волос и иголочках меха. Россыпь блесков. Держась друг за друга, мы пересекли площадь. Оставляя слева мерцание свечей в распахнутых воротах стариной церкви, мешаясь с праздничной толпой, беспреданно раскланиваясь – и цилиндр с головы в поклоне размашисто, на отлет: по-старопольски, як пан краковський, – смеются подружки...

– Игривый цилиндр мне подарили студентки костюмерного отделения. В нем я пересек новогоднюю ночь, в нем вышел на площадь в Кракове.

– Времена года. Насколько неистощимой золотоносной жилой была эта тема в искусстве, теперь этого нет, не знаю, почему, но клад метафор, что заложен в ней, не востребован. Сейчас зима, и ветры шало носятся по городу. Швыряя в стекла окон то снежную крупу, то барабаны по ним злым зимним дождем. Морские люди азово-черноморского бассейна не переваривают северо-восточный ветер, но зюйд-вест зимой ничем не лучше.

...стук дождя, времена года, человеческая жизнь.

– Я люблю спать в своей будке, когда идет дождь, – сказала она, описывая прелесть своей дачи, – и напорочила: лето выдалось дождливым. В этом году все повторяется, каждый день дождь. Будка, в которой она любила слушать дождь, собственно, была не будкой, а маленьким деревянным домиком о двух дверях, выкрашенным синей краской. Одна дверь вела в ее комнату, другая – в летнюю кухню. Собственно, титульным владением являлась часть старой дачи, сложенной из ракушняка. Две крохотные комнатки. Но она любила свою будку. К строениям примыкал участок сада, такой же маленький, как все остальное. Среди акаций росли две вишни и пять черешен. Четыре обычных и одна гигантская, реализованная мечта Мичурина – высотой с тополь. У ее подножия и примостилась будка.

То ли бывшие владельцы, век тому посадившие вишни с черешнями, были отменными садоводами, то ли расположение дачи в приморской балке, ласково именуемой ее обитателями «наша канава», способствовало, но урожайность сада была феерической. Никто никогда им не занимался, никаких агротехнических работ не проводилось, а старые деревья ежегодно стояли сплошь усыпанные гранатовыми подвесками. Дать урожаю сгнить было жаль, оттого и собирала Таня все лето дары Божии, снимая и снимая пурпурные до черноты ягоды, – а мама закручивала.

Дни в то лето делились: День с дождем и День, слава Богу, без.

День, слава Богу, без – ленивое течение времени, с утра до полуночи... Утро после ночного дождя. Солнце. Поток блестящих пятаков пронизывает мокрую листву, россыпью лежит в траве, в сырой тени деревьев алюминиевая стремянка, запах кофе...

...мимо базарчика. Конечная. Остановка восемнадцатого трамвая. Спуск к морю. Пляж.

Сухой жар перегретой травы. Полдень. Маленькие ноги на ступеньках стремянки. Остальное, смугло-бирюзово-голубое, светится сквозь дырчатую зелень, и над листвой мелькают и мелькают руки, рвущие царственное изобилие в клеенчатую кошелку, повешенную на шею. И ничего в мире нет, кроме золотистых ног, стоящих на цыпочках на алюминиевых ступеньках, и солнечных зайчиков, скользящих от пальчиков вверх по бедрам, и кошелки, полной горячих от солнца черешен. Лукавая Ласочка, прикусившая зубами черенки ягод. Кибрик – Роллан. Томное течение дня. Вожделенные классические розовые пенки знаменитого вишневого варенья, а вы предвкушаете, предвкушаете – рецепт от Столярского, другое мироощущение. Другой вкус времени. Неизъяснимая прелесть запутавшихся в зелени одичавших садов старых дач, крытых замшелой черепицей, с обязательными смешными портиками о двух колоннах. Обедали поздно, когда к вечеру спал дал зной. Солнце стояло за домом. Иногда к обеду приезжала Тоска – она была ее концертмейстером. Засиживалась допоздна. Мы шли ее провожать. Трамвай уже не ходил, но случай непременно посылал такси. Тогда и начиналось чудо неспешного возвращения по пустынным переулкам среди волшебства августовской ночи. В глубине дач за изгородями и виноградными лозами – редкие огни сквозь черные силуэты листвы. И мерцание моря под звездами. Искра падучей звезды пересечет небо – мимолетно, без загаданного желания. Не успел. Да и что можно пожелать, какое желание может вместить эту ночь, горячую, держащую тебя под руку ладонь и путь домой, к нагретой за день будке, примостившейся под большой черешней?

День с дождем. Начинается ночью – будит степ капель по крыше. Просыпаемся и опять усыпаем под нескончаемую чечетку. Быстрый и дробный перестук, то ослабевая, то опять усиливаясь, сопровождает нас в пространстве ночи. Утро за распахнутой дверью, резкая сырость сада. Она вытесняет ночное тепло жилья. К тарахтенью по кровле прибавляется глухой звук капель по виноградным листьям. Туман. В нем тонут дачи. Вся канава под этим мокрым одеялом. Чтобы сварить кофе, надо проскочить под надоедливый душ из двери в дверь на кухню. Сквозь серую влажную вату сочится пряный тропический запах. Возвращаюсь

с кофейником, она сидит, закутавшись в одеяло и подтянув колени к подбородку. Языческий божок. Из одеяла за чашкой выныривает рука – медленно пьет, глядя на пронизанные струями зеленые сумерки. Еле слышно, опустив веки, – иди ко мне. Затухающий рокот грома вдали, гроза ушла в море. Дождь ослабел, но хляби небесные неиссякаемы, будут лениво барабанить до вечера, а может, до следующего утра. Завтра – чудо солнца, просыхающего после ливня сада и свернувшееся калачиком в солнечном пятне полноватое гибкое тельце. Жаркий квадрат медленно передвигается по простыням, по сурику пола, посреди оранжевого сияния – маленькие красные тапочки.

Рыжие отблески бродят по стенам.

Солнечный свет падает сквозь зелень хитросплетений лозы на марлю в дверном проеме. Редкая ткань, спасенье от комаров. Сладкие ветерки бродят по саду. От их прикосновенья по марле пробегает чувственная дрожь. Сладострастное распятые. Ее нижние концы прижаты к полу голышами. Это крупная галька, принесенная с пляжа. И с утра до вечера, долгий летний день тени виноградных листьев, раскачиваясь, плывут по любвеобильной ткани. Забытое ощущение завесы, впитавшей полуденное солнце.

...через много лет сообразил, почему она так любила свою будку, деревянное строение резонировало, как музыкальный инструмент, улавливая и усиливая ночные шорохи сада и долетавший по ночам глухой рокот моря.

...на майский фестиваль современной музыки «Два дня и три ночи» приехал немец, виолончелист. И когда знаменитый в своем отечестве седой виртуоз начал ритмично постукивать и похлопывать по деке, в зале повеяло сыростью – шел дождь. Он отчетливо стучал по кровле, глухо по листьям и лопухам. Кто не жил в дождливое лето в деревянном домике, когда утром в отворенную комнату врываются промозглая влага, мешаясь с ночным теплом и запахами молодой женщины – тому ничего не скажет ни перестук дождя по крыше, ни глухой звук капель, тарабанищих по виноградным листьям. Дождь дождем, дождь дождем, сладость и томная чувственность созревающего сада.

Странно, в эти дни летнего безделья мы мало читали. Если говорить честно, совсем не читали. Мы бесконечно долго разго-

варивали. Каждый был для другого непрочитанной книгой, потому говорили и говорили, спеша скорей перевернуть еще одну страницу познания. Желтый свет одинокой лампочки над столом мешается с черными тенями виноградных листьев, антрацитовая неохватность ночи, три человека, затерянные во тьме сада, да пение цикад... Мистика. Рембрандт. Ночные сцены. Прелесть поздних чаепитий. Долгие посиделки под звездами. Не все ли равно, о чем говорить, – но рано или поздно беседа сворачивала на судьбы. Судьбы музыкантов. Ее мама тоже была профессиональным музыкантом. Она навидалась всякого. Ее было интересно слушать. Передо мной проходили одесские династии. Луна над крышами сдвигалась к зениту в сторону моря, озаряя заснувшие дачи, вспыхивая ртутным блеском на изгибе трамвайных рельсов, а мы все говорили...

Вокруг лампочки вертелись ночные бабочки и роились комары. От бабочек вреда, вообще-то, не исходило, хотя создания были отнюдь не эфемерными – когда они врезались в ламповое стекло, следовал неприятный щелчок. Танец их приковывал взгляд. Что-то мистическое было в их обреченном хороводе.

С комарами было хуже, хищники...

– Как измерить, предугадать судьбу и породившее ее мастерство? Врожденный талант порождает мастерство или жизнь, судьба выковывает гения? – И сколько ни пели комары свою победную песню, мы продолжали героически сидеть, почесываясь, отдавая себя на съедение заживо, – уйти от столь захватывающего разговора, оборвать его было невозможно, образы требовали воплощения. Как требует своего воплощения талант, который для своей реализации в состоянии прорасти сквозь асфальт. В полночь мать уходила к себе, а мы, выключив свет, некоторое время сидели, слушали звуки ночи и смотрели на летучих мышей, стремительно пересекающих в лунном свете пространство между спящими дачами...

«Великие тени» мало тревожили нас в эти благостные дни. Только изредка отправлялась она в город репетиторствовать свои юные дарования. Да пообщаться с примой – Тоской. В эти дни мы всецело принадлежали друг другу. Я бессовестно лентяйничал, поскольку раблезианский лозунг – делай что хочешь –

напрямую вытекал из устава и образа жизни члена СХ СССР. И пользуясь этой эфемерной привилегией, я вкушал dolce, dolce far niente. А она так глохла от музыки в течение учебного года, что в дни каникул упивалась звуками, порожденными ветром, шумом волн, гомоном дачной жизни – а не результатом профессионального извлечения звука. Мы были беспечны. Не зная, что беспечность есть своего рода счастье. Прошли годы. Настало время вечерних сумерек. Тогда из тьмы и появился Он – мой извечный собеседник. Он пришел первым.

– Сидишь? – спросил он.

– Сижу.

– Бессмысленное занятие, – сказал Рембрандт деловито. – Иди за бутылкой, есть о чем поговорить. Лучше две. Сухое. Шардоне.

Когда я вернулся, он сидел, облокотившись на стол, подперев голову ладонью.

– Посуда у тебя так себе, спасибо, что не граненые стаканы из автоматов «Газированная вода». Наливай и слушай.

И он начал исповедь «О бездонной темноте колодца, из которого тянешь ведро воспоминаний», а вода расплескивается и падает обратно во тьму, на мгновение озарив душу блеском минувшей жизни.

– Ты стараешься не расплескать, а воспоминания о самом дорогом выплескиваются из переполненного ведра, сверкнув – и канут в бездне времен. Настала пора бесед с «великими теньями», я полюбил разговаривать с ними. Возраст.

Нам было о чем поговорить – о тающем в сумраке женском теле, о свете колеблющихся свечей, что пробегает по голеним, выше, скользит по животу, минуя тени у раздвоения груди и бедер. Живая человеческая плоть – с какой любовью он передавал всю прелесть всю изменчивость ее изгибов и округлостей...

– Абрикосы в глиняной миске, тающие на солнце. Золотисторозовые. Складочка, разделяющая нежный плод. Одна рука лепила. Сладостное чудо. И жен человеческих... Пишу и недоумеваю, как поручик Ржевский: плоть есть, а слова нет... – Когда плоть есть, а слов нет, не хватает (а бывает, они и не нужны), начинается пространство музыки. – Сколько можно смотреть на самую гениальную картину? – На «Менины» Веласкеса или «Пастуха

с нимфой» Тициана? Бесконечно долго. Но устаешь. Требуется перерыв. А на самое гениальное изображение кавалерийской атаки при всем беспредельном накале действия? И того меньше. А вот бамбуком под ветром на китайском свитке, где, в общем-то, и смотреть как будто не на что, можно любоваться вечно.

Воплощенная музыка – пространство страстей человеческих...

Какие страсти могут кипеть во тьме бессонных джазовых клубов, я только догадывался. Я до этого никогда в них не бывал, то, что слышал у друзей, раритетные пластинки с записями великих джазменов, было далеко, в Нью-Йорке, Париже. Тогда – другая планета. Это был гул, идущий из дали атлантического мира, через Ламанш. – Это Сева Новгородцев – город Лондон, Би-Би-Си. И вот в настоящий погруженный во тьму джазовый вертеп привели меня мои польские подруги. Передать контраст между низким сводчатым средневековым подвалом, в чьей глубине мерцали редкие свечи, и едва освещенной эстрадой, с которой хлынул поток пряных афроамериканских мелодий, невозможно. Он вырвался на волю, прорвав плотину ночной тишины, скованной заснеженный город. Не берусь судить о вокальных данных досточтимых пани, но тем, что испанцы называют дуэнде, они обладали сполна. Дорота и Ивонна. Сначала они пели спиричуэлс. После перерыва перешли к импровизации. Вокализ. Слова не нужны. Раскованный диалог о том, что можно высказать только так. Страстный, чувственный рассказ о бабьей судьбе через века и страны то захлебывается от счастья, то низким контральто повествует о несносной сердечной муке, обо всем том, что может поведать женщина женщине. Среди извивов переплетающихся мелодий невиданного, невыносимого сердцем кружения начали прорываться знакомые голоса. И сквозь мелькавшую чересполосицу света и тьмы, пересекая поворотный круг театра жизни, где античная трагедия неизменно перетекала в ярмарочную карусель, а карусель становилась страшным хороводом масок, кружась, оплетала, как паутиной, белым призрачным серпантинном воспоминаний, не дающих выйти из этого заколдованного круга. И только идя на голоса и прорываясь сквозь извивы мелодий, я вышел на берег моря. Ночь. На противоположном берегу мигали гирлянды огней.

Остановка трамвая «Лузановка». Пригород-форштадт – погожий одесский берег, переходящий в пляж. На этом берегу сочинялся этот рассказ.

Рыжий свет на полу и вибрирующая в солнечной истоме занавеска, одесское лето. Я пришел в гости к старой знакомой. Она музыкант, когда-то она была свидетелем нашей любви. У нее в квартире ничего не изменилось, разве что к роялю прибавился компьютер – да та же неизменная марля на дверях, ведущих на балкон, знак времени, растворившегося в дыме лет. Лет пять тому назад я видел «пианистку с русской фамилией» в большом зале консерватории. Играла ее ученица, вернее, ее ученица тех лет, когда мы были близки. Девочка выросла, заканчивала аспирантуру, о чем сообщала маленькая афиша, отпечатанная на принтере. Она сидела рядом с отцом девочки, была оживлена. По-моему, не пополнила, только узел волос на затылке заменила стрижка каре. Подробнее рассмотреть не мог, в зале был полумрак, а я сидел рядах в пяти от нее. Вообще, я теперь плохо вижу в темноте. Скорее всего, она меня не заметила, а может, не узнала, я смотрел и думал: когда-то в этом тельце сосредотачивался для меня весь мир.

...Когда я спросил, как можно профессионально правильно назвать короткое музыкальное произведение о дождливом лете на даче...

Для двух инструментов, каждая часть не больше двух-трех минут. Возможно, трехчастное?..

...с преподавательской обстоятельностью мне рассказали о «Мимолетностях» Прокофьева – как мед солнечного света скользит по висящей в дверном проеме полупрозрачной горячей на ощупь ткани, а за ней в перегретом воздухе жаркая листва, тени плывут по занавеске... рассказали о «Музыкальных моментах» Шуберта, о мудрости краткой формы. Капал тяжелый пахучий янтарь, меня угощали свежавыкачанным майским медом, лился и лился рассказ о мазурках Шопена. Поили зеленым чаем, поведали о пьесах для скрипки и гитары Паганини. Ток меда. Он обволакивал меня. Я спросил – а если ударные? Все же фоном был стук дождя...

Можно и так: истории любви для фортепьяно и виолончели *fa minor* op. 1 – но это скорее Штокгаузен...

Часть первая. Анданте, виолончель как ударный инструмент...
...вдох, выдох, розовый снег лепестков вишни. Миг бытия, вспышки бликов на гребешках волнушек, с извечным постоянством накатывающихся на пологий пляж. Мимолетности, их тяжело удержать, выразить, прежде чем они уйдут в небытие. Когда перед тобой, на твоих глазах мимолетность и вечность соединяются в одном произведении – шедевр обеспечен. Колдовство. Мимолетен, как блик на воде, – не помню, откуда эта фраза о мелькнувшем и растаявшем миге жизни. Блик блику рознь. Жаркий блик одесского утра – один из мириад вспыхнувших и угасших оранжевых зеркалец. Вспышка памяти на ленивой прибрежной волне.

Часть вторая. Рондо, фортепьяно и виолончель в сопровождении дудари и чандури.

На солнышке плавают и медленно опадают лепестки, белорозовый ковер, безветрие. Надышался и нанюхался весеннего дурмана до головокружения. Только не было б ветра, и чудо длилось и длилось – тогда тоже был май:

– Там-та – дара-та! Там-та, дара-та! – А, Там – да – Рай, А, Там – да – Рай! – мы влетели в майский Тбилиси и сразу были оглушены, изумлены, покорены и смяты. Прелестью красок, звуков, запахов. Кахетия. Вторая весна нашей любви. Школа собиралась на обменные концерты в ДСМШ в Тбилиси. Она упростила своего приятеля-завуча взять меня с собой в составе делегации, он согласился, несколько педагогов не смогли поехать, а деньги на мероприятие надо было израсходовать. В середине мая наш цыганский табор: пианисты, струнники и их подопечные – ученики в сопровождении мам – бодрой гурьбой окружили трап самолета. Струнники норовили без очереди проскочить в самолет, дабы обеспечить сохранность своим инструментам. В общем, все как всегда. Обычный одесский базар. Полет как полет. Прилетели. Тбилиси встретил нас жарой и цветами, большинство встречающих и прилетевших были знакомы и не раз виделись на различных фестивалях и конкурсах. Пока обнимались и целовались, тбилисские коллеги исподтишка выясняли, виртуозом какого инструмента являюсь я.

– Теоретик, – объяснил наш директор, – может откупоривать бутылки и перелистывать ноты.

И я как знакомый Антонио Ордоньеса, переодетый им в костюм матадора после парадного шествия вокруг арены перед выходом первого быка, спросил, что мне теперь делать.

– Вы волнуйтесь, но в меру. Являйте готовность, но без нетерпения. У всех должно быть чувство, что в нужный момент вы исполните все как должно.

С таким примерно настроением я сидел на крайнем кресле преподавательского ряда.

Баран распрощался с жизнью. Ему повезло, не каждый барашек заканчивает жизненный путь под звуки «Испанской симфонии» Лоло. Его предсмертный крик смешался со страстными аккордами этой воистину с кровью на губах музыки. Наш не подвел. Фермата была блестящей. По очереди выступали одесские и тбилисские вундеркинды, преподаватели и мамы застывали в страстном волнении, хватаясь за сердце. День клонился к вечеру, в открытые окна долетали звуки ковровой столицы, любимой провинции тетрарха. Вместе с городским шумом в зал вливался обольстительный запах шашлыка. Розоватый винный пар, смешанный с легким дымком, стремился к узкому азиатскому месяцу. Профессионализму участников музыкально-гастрономического действия можно позавидовать – последняя нота совпала с последним обрызгиванием мяса красным вином.

...блеск моря и розовая пена, в которую входят и выходят чередой наши Афродиты, и жар солнца на спине, мощный звук скрипки, взалоб повествующей о счастье бытия. «Токката» Хачатуряна и Тбилиси перед глазами. Он действительно идеально ложится на эту страстную музыку. Сколько лет отделяет меня от шести дней счастья, которые он подарил! Ощущение совместно переживаемого праздника не покидало нас в эти дни. Мы телесно, на вкус, цвет и звук наслаждались пряным городом. Просто физически ощущали радость совместного обладания градом «тысяча и одной ночи», над которым есть гора, а реку зовут Кура, за рекой шумит базар, за базаром Авлабар.

Мы бродили в пустоте музейных залов. Было прохладно и тихо. В музее мы оказались единственными посетителями, не было даже зрителей, во всяком случае, их не было видно. Мы целовались. Среди святых и ангелов. В перерывах между

объятиями рассказывал о грузинской фреске, о византийском искусстве, она прижималась ко мне спиной... – что плыло в ее зрачках? Не думаю, что это были таинства евхаристии. Мы были одни среди дивной стенописи. Чем жарче и чувственней город, тем острее переживается прохладная тишина храмов и музейных залов, их отдаленность от повседневности, бездонная пропасть сиюминутного и вечного. Чем сильнее ощущалась скоротечность времени, тем чаще мы прижимались друг другу. Кружили и кружили по средневековым залам. Другого искусства нам не хотелось. Мы уже собирались уходить, когда ее взгляд остановился на закрытой двери Золотой кладовой. Она была равнодушна к ювелирным украшениям, пошли в администрацию. То ли мой членский билет подействовал, то ли сказалось извечное грузинское гостеприимство – но чудо сотворилось. Элегантный, худой, высокий, горбоносый, похожий на Пиросмани научный секретарь повелел отворить сокровищницу – и отрядил с нами молоденькую сотрудницу. Часа два бродили среди древних творений ювелиров. Девушка изредка заглядывала в залы, спрашивала, нужны ли ее услуги, и опять пропадала. Через Кавказ проходил Великий шелковый путь, собрание было захватывающим – от римских фибул до изделий урартских и китайских мастеров, средневековое оружие и статуэтки Будд, драгоценности – все, что наторговали или награбили за две с половиной тысячи лет.

– Но это был второй день.

Два дня отвели на культурную программу, целью первого дня было посещение знаменитых Тифлиских серных бань. Описанная Пушкиным экзотика привела всех в восторг. С особым удовольствием повторялся рассказ, как банщик, уложив толстенького зав. струнным отделением на кругленький животик и хлопнув его по заду, провозгласил: «Джигит! Сейчас из тебя сделаю Сталлоне с Бельмондо сразу».

От всего этого я улизнул в музей.

Увиденное поразило. Ангел Манглисского храма, широко раскинув крыла, медленно спускался на грешную землю. Такого уровня фресок, где виртуозность неотделима от решительности, не много. Можете мне поверить. Фрески Феофана и Спаса на Нередице – неизменный эталон мастерства, вечные ориентиры

и советники. То, что предстало передо мной, являло, по словам Гоголя, силу кисти разительной. Недюжинный мастер писал этого голубого ангела. Византиец – или грузин, впитавший великое мастерство константинопольского учителя. Но рядом висел равный по силе образ. Властно претендующий на первенство – перво-родство, ведущий свою родословную от греческих мастеров. Тоже ангел. Из Кинцвиси. Но если первый ангел, серовато-голубой, от-тененный излюбленным местными мастерами сумрачно-зеленым темным кобальтом, плыл в пепельно-сером небе, то второй являл чудо радостного бытия, краски полыхали и горели, плавилось не-виданное сияние лазоревого кобальта, перетекавшего в ультра-марин, нимб светился прозрачным пурпуром. А лик – розовый, просвеченный серовато-оливковыми полутонами. Да еще пластика. Как сильна византийская закваска! Через четыреста лет этот размах крыльев повторится у Эль Греко. В живописи не было чрез-мерной экзатичности, абстрактности константинопольских мас-теров. Духовность обрела достойное телесное выражение.

На второй день мы пошли смотреть на это чудо вместе.

И еще одно чудо подарил Кавказ, нас повезли в Гори, на ро-дину Мурадели и «отца народов», который то возвеличивал, то для острастки мордовал своего земляка. Все шло, как и предпо-лагалось, нас принимала школа имени полуопального – полупро-щенного творца, дети играли, мамы волновались. Потом повезли в Сионский монастырь, он хорошо сохранился, и когда мы стоя-ли под куполом, озирая фрески двенадцатого века сквозь узкие солнечные лучи, рассекавшие храм, раздалось тихое пение. «Они включили музыку для полноты восприятия», – решил я.

– Ты что! Смотри! Они для нас поют.

Действительно, грузины и грузинки, преподаватели горий-ской и тбилисской школ пели – и как! Таня вцепилась мне в руку, и мы окаменели, зачарованные. Под сводами храма медленно и величаво плыл псалом, посвященный Деве Марии. – Ты лоза благодатная. – Прозрачный и густой, как вино алазанской доли-ны, грузинский псалом десятого века. Таня плакала. Забыв про тушь ресниц, сжав до боли сильными пальцами пианистки мою руку, – такой я ее не видел. С нашими одесскими дамами было то же самое, они вытирали платочками глаза, размазывая столь

заботливо нарисованную красоту. Мужчины превратились в изваяния. А псалом все ширился, все мощнее наполняло храм знаменитое грузинское многоголосье. Наконец оно отзвучало, воцарилась тишина.

– Слышали, как надо любить женщину? – бросила одна из наших метресс, засунув зареванный платок в сумочку. Щелчок шариков замочка показался очень громким в наступившем безмолвии. И пошла из храма, забыв, что надо стараться не попасть каблуками в щели между древними плитами.

Потом был обед. Столы стояли в ореховой роще среди густой травы – все было, как у Пиросмани. Я не помню подробностей обеда, помню только, что он плавно перетек в ужин, а ужин завершился, когда заверещали птицы, встречая новый день. Автобус благополучно повез наши тела в Тбилиси, где их и свалили на койки в гостинице «Иверия». Там, в райских волнах видений, порожденных сказочным телиани, плавали загадочные письма, подобные ветхозаветным скрижалям. Часов в десять подняли, отпоили хашем, повели завтракать – и я поведал о таинственных, неизвестно откуда пришедших знаках. В перерывах между горными обвалами хохота все разъяснилось: «Иверия», начертанная древним алфавитом, светящаяся неонам в предрассветном небе, была спутницей моих грез. Это на нее таращился я в пьяном изумлении, пока меня тащили от автобуса к гостинице. Между завтраком и обедом было посещение сказочно обильного рынка, ужин. Это был шестой день, назавтра мы улетали. После пиров и рынка.

Остается поведать о феномене Пиросманишвили. Он изобразил вечные ценности: любовь, пир, труд, праздник. Вернее, вечный праздник жизни под грузинским небом: любовь, пир, труд. Наивно и бесхитростно. Вернувшись домой, я нашел в книге фотографию мастера и был поражен библейской простотой и ясностью его лица. Лик. Ясное выражение архетипа мужчины-грузина. Воина, Священника, Винодела, Живописца. Пропировав ночь в сени ореховой рощи и услышав древнейший псалом под сводами средневекового храма, многое начинаешь понимать. Простота, возвышенная библейская простота, пронесенная через тысячелетия.

Часть третья. Адажио – долгое, мучительное...

Длинные дни. Летнее солнцестояние. С утра солнце то прячется в облака, то светит сквозь туманную дымку. Духота. Парит. К полудню небо начинает затягиваться серо-лиловыми тучами. К двум где-то за горизонтом начинает ворчать гром. Сейчас мрачность затянула треть неба. Гроза идет с запада. Вернее, с северо-запада, из степи – разразился бы скорей ливень как избавление от душливой истомы.

– Что я в жизни видела? – сказала она. – Как зайчик в цирке, ба-рабаню по клавишам, только он на арене, а я в классе и на эстраде. Мужчинам тяжело понять женщин, у них обостренное чувство уходящего времени – мы все таем, как свечи. Все вокруг. Разве ты не чувствуешь?

Наверное, наши женщины были самыми клятыми диссидентками, они острее нас ощущали беспросветность бесконечного движения по кругу. И обесценивание бессмысленно уходящего времени. В силу обостренной чувствительности, как тончайший прибор, она улавливала роковые потрескивания кия корабля задолго до того, как рухнут пиллерсы, палубы начнут валиться в трюм, хрустнут шпангоуты, начнется распад. Эти роковые потрескивания в трюме ощущала не только она, подсознательно, интуитивно их осознавала вся музыкальная команда. Но жизнь катила по своим рельсам, конвейер с перебоями и проскакиванием шестеренок все же крутился – экзамены следовали за экзаменами, конкурсы за конкурсами. Прошла зима, прошла весна, закончился учебный год. Таня с мамой съехали на дачу. В то лето я был загружен книжными заказами и приезжал на дачу редко. Она собирала урожай сама, а что не могла достать со стремянки, отдавала на откуп юным тимуровцам – правда, те больше поглощали, чем собирали. У меня есть паршивая особенность: когда я ухожу с головой в работу, все остальное перестает для меня существовать. Видно, в то лето я ушел слишком далеко.

Погромыхало и кончилось ничем, гроза ушла на море – изменчивая водная стихия притягивает грозы. Но сумрак не прояснился, и ночь пролилась обложным дождем.

...через чреду лет все повторяется. Так же беспрерывно дождит – предчувствуя катастрофу, музыкальная команда спивалась; что-

то, что не давало нормально жить, какая-то неудовлетворенность червем грызла души, и они приезжали на дачу пьяно исповедоваться и искать опору друг в друге. Удивительно, сейчас я яснее чувствую и понимаю то время. Тогда я был занят – мне не было дела до судорожных колебаний пьяного метронома. Видя мою отстраненность, она придумала эту поездку. Музыкант, если он музыкант, – профессия, требующая большого нервного напряжения и концентрации душевных сил, я это понял, однажды сняв Таню после репетиции под мышки со сцены филармонии, она была как огонь, в ней было градусов сорок, не меньше. Ей нужен был отдых, мы засобирались в Болгарию.

Сегодня в трамвае впереди меня села молодая женщина с поднятым вверх к затылку жгутом закрученных в узел волос. К шее прикипели потные завитки, в мочках большие восточные серьги потемневшего серебра, когда-то ты носила подобные. Только вместо прищепки в узел волос вставлены палочки, как у официантки японского ресторана. Однажды ты забыла у меня в мастерской красную прищепку в виде двух красиво изогнутых гребенок, сходящихся и соединенных вместе пружинкой, капкан. Маленький пластмассовый капкан – приятная на ощупь округлость. Он до сих пор покоится в одном из ящиков письменного стола, я изредка натыкаюсь на него, когда ищу какую-то бумажку. Вынимаю, долго кручу в пальцах...

Ты вечно забывала что-либо в мастерской. Так было и в тот раз, стояло солнечное утро, пили кофе, сидя на улице напротив «Старой Луны» – лучше бы назвали «Не все вечно под луной». Были счастливы, проведя ночь вместе, беспрерывно смеялись. К нам за столик подседа знакомая художница.

– Отчего это вы с утра такие веселые? – спросила она, с интересом разглядывая нас.

Ты шепнула на ухо:

– Я забыла лифчик в мастерской под подушкой, – и прыснула смехом в чашку, так мы и пили кофе, смеясь. Любопытство в глазах знакомой все усиливалось. Попрощавшись, мы ушли, а знакомая осталась путаться в загадках житейского кроссворда.

Потом была Болгария: Пловдив. Мы сидели на ступенях прекрасно сохранившегося античного театра. Это была моя первая

в жизни заграница. На город опускались сумерки. Пепельные тени легли на дно древней мраморной чаши. Таня носочками бо-соножек упиралась в камни амфитеатра, она всегда любила сидеть так, опираясь на пальчики ног.

– Платформы у тебя – котурны.

– Я давно ощущаю себя участницей трагедии, только не поняла еще, в каком амплуа.

А внизу, на дне амфитеатра, звучала гитара – и ее голос, как тихий шелест листы, вплеся в гитарные переборы, она действительно отличалась удивительной интуицией. Теперь, когда сквозь дымку лет все это видится полуявью-полусном, сказанное звучит как пророчество о шекспировском театре страстей человеческих, как тихий рокот грома, предвещающий если не грозу, то обвальнй ливень. Жаркие сиреневые сумерки, в которых таял древний театр, таяли и растворялись в гитарной мелодии ее голос, ее лицо – из этих сумерек возник другой за-пахший в душу печальный лик. А на горячих, прокаленных за день мраморных скамьях сидели мальчики и девочки, и старый город, на мгновенья приоткрыв завесу в будущее и прошлое, тут же задернул занавес.

– Тогда-то встала передо мной еще одна женщина, закусившая зубами носовой платок, – дитя нашего века, написанная другим гением, – Дора Мар. Живое человеческое естество. Сырая эмоция, не скрывааемая, не сдерживаемая: так в пароксизме горя, махнув на все рукой, плачут взахлеб лишь женщины и дети.

О чем? О кораблях, не ушедших в море, О душах, забывших радость свою. О кораблях, заблудившихся в море и не нашедших душу свою.

И нет мужчины и женщины, взгляд которых на эту сестру человеческую не преисполнился бы сожалением и участием. Конечно, судьба спутницы гения не подарок, тем более судьба спутницы Пабло Пикассо. Но если подумать и взвесить стоимость самых горьких слез и картину, передающую мироощущение века? Причиной скольких рыданий других женщин были другие Пабло, и это не претворилось ни в строчки, ни в картины – ни в другие долгие дела. Идея превращения жизни, обычной человеческой жизни во всей ее повседневности, в искусство – идея не новая,

но имеющая необыкновенную силу, от сердца к сердцу. Понимаешь и чувствуешь: то, что изображено, написано, снято и озвучено, могло быть с тобой, или уже было, или будет...

– Что было, что будет, чем сердце успокоится. Оно нырнуло в поток видений и меня вынесло в одесский июль...

Сегодня с утра облака неуклонно затягивают небо. Все меньше голубых просветов остается между волокнами, едва подкрашенными бледно-лимонным блеском. Послушное облакам море тоже становится серебристо-серым. Но стоит одиночному лучу прорваться сквозь этот покров, как по тусклому стальному фону, разбегаясь, вспыхивают фиолетовым огнем бесчисленные зайчики. Подвижное серебро накачивается на песок и уходит назад. Светлый день, солнца нет. Напоенный влагой песок и зеркало воды на кромке прибоя одного цвета – это бывает нечасто. Ветер постепенно разгоняет волну. Вода очень холодная. В течение лета несколько раз происходит это перемешивание неведомой силой подводных течений. Сейчас стоят прохладные дни. Северо-западный ветер – сначала он принес дожди, за дождями последовало охлаждение воды. Это объяснимо. Но бывает и так. В раскаленных добела днях тонет изнывающий от жары город, а море – нестерпимо холодное.

– Течение повернуло, – говорят одесситы.

Случается это внезапно. Вечером разогретая на блюде мелководья вода доходит до двадцати пяти градусов. Ночью все меняется, Холодная стихия, пустой пляж, ни рыбки, ни чаек. И только неухоженный безлюдный парк томится в июльском жарком мареве.

Так и в жизни. С человеком, с его душой происходит то же, какое-то отстраненное спокойствие овладевает им. Вытесняя горячую чувственность. Из нутра, из самых потаенных глубин поднимается это холодное течение, поворачивая жизнь в негаданную сторону, меняя судьбу.

– А карета все катит и катит по низкой узкой дамбе. И все поет скрипка Леонида Когана.

Всю жизнь меня мучает идея недостижимого совершенства. Сталкиваясь лицом к лицу с его воплощением, я замираю в оцепенении. Тогда мир праздновал двухсотлетие рождения Паганини,

по ТВ шел советско-болгарский фильм о великом скрипаче. С экрана зазвучала его музыка в таком исполнении, что казалось, все в мире остановилось. Замерло. Творилось чудо. Играл скрипач милостью Божией. И я сразу узнал и дамбу, и городок по ту сторону залива, куда ехала карета. И ветряную мельницу за дамбой у въезда в селение, что должно было изображать Италию, а было на самом деле маленьким болгарским рыбацким средневековым городком Несебр. Я полюбил этот городок, его старые дома с деревянными мезонинами над сложенными из плитняка нижними этажами. С годами доски мезонинов обветрились, стали серебряными от морской соли. К вечеру, на закате, я любил ходить по дамбе к развалинам византийской базилики. Иногда мы ходили вместе. Долго ночью засиживались под громадными звездами на террасе чудом сохранившейся греческой кофейни позапрошлого века, там мастерски варили кофе. Чтобы попасть на террасу, нависшую над морем, надо было пройти через скупо освещенный зал с бильярдным столом посредине. В отличие от таких же вечеров на даче, мы мало разговаривали. Молча смотрели на море.

– А карета мятежного генуэзца все катит под звуки скрипки – воистину дорога без конца... Нам не дано услышать игру Паганини, но то, что сделал для нас Леонид Коган, – подобно чуду. Неисповедимы пути Господни – и, как правило, имеют неясный судьбоносный промысел. Стезю, на которую Он приводит человека, предугадать невозможно. Два года я прихожу в мастерскую только затем, чтобы беседовать с тенями из прошлого, они мешаются с образами людей, которых я знал и любил. Нельзя сказать, что это беззаботное времяпровождение, ощущение легкой беззаботности свойственно другому возрасту – оно возвращается все реже.

– И чья-то шляпа на мольберте... – процитировал Катаев Бунина.

...замечательная оливковая шляпа с артистически загнутыми полями, шляпа, какую вполне мог сто лет тому назад носить маститый критик Айхенвальд или, чем черт не шутит, сам Корней Чуковский, – повешена на мольберт, измазанный медленно сохнувшими масляными красками. Нереально. Вряд ли кто-то опрометчиво, на трезвую голову мог ее повесить. Все это очень точно

характеризует хозяина мастерской, дилетанта во всем Федорова – писавшего что стихи, что этюды от случая к случаю. Таким дилетантом становлюсь и я. Краски, измазавшие мольберт, основательно просохли – шляпу можно вешать безбоязненно.

Проснувшись, первое, что я воспринял, – глуховатый стук капель о стекло и более звонкий – о жесть водостоков. Шел дождь. В сочельник зима была еще полноправной хозяйкой, падал снег. Все предвещало снежное Рождество. Но в течение ночи зима стала истекать проливными слезами – у нас в Одессе так недолговечна ее красота и забава – снег перешел в дождь, и из непроглядности тумана и дождя доносился жалостно протяжный звук, зов страдающего зверя – маячный ревун. Он плыл над морем, молот, бульваром с унылой однообразностью сквозь туман, стлался над водой, обегая побережье.

– А за ним следовала память. И, вспомнив все, вспомнил, что с тех пор прошло без малого три десятилетия, но во мне еще живет лето, ставшее частью моей души, – домик под черешней-великаном и Ласочка с кошелкой, полной горячих ягод. И я ощутил теплоту морской воды, не думавшей остывать в октябре, податливую твердость песка на кромке прибоя и вафельный хруст бело-розовых ракушек, перемешанных с сизыми половинками мидий под ногами, мерцающий слюдяным блеском морской окаем – увидел пологий берег, заросший перекрученными неуступчиво стойкими дикими маслинами, гледичией и софорой. Перенесся сердцем на другую сторону бухты к желто-розовым обрывам, покрытым полынью и дроком, и понял, для чего я написал этот рассказ...

